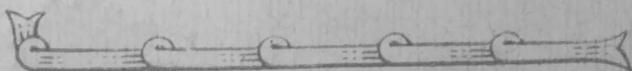


Русская литература

2

1958



ЛЕНИНГРАД

К ИСТОРИИ РУССКО-ФИНЛЯНДСКИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

Уже в самые ранние периоды литературного движения в Финляндии его наиболее прогрессивные представители осознавали важность освоения культурных достижений других народов. Борясь за создание новой финской литературы, развитию которой в немалой степени мешала национальная замкнутость, Й. Снельман, например, настойчиво советовал переводить на финский язык крупнейших художников мира, чтобы финны смогли познакомиться с поэтическими формами, соответствующими «новой культурной эпохе», и научились понимать и выражать на родном языке «чувства, образы и стремления нового времени».¹ Только таким образом можно было, по мнению Снельмана, подготовить почву для появления самобытной финской литературы, национальной не по одному лишь языку, но и по охвату ею важнейших проблем исторического развития финской нации.

В этом смысле значительную роль в истории литературы Финляндии сыграли также русско-финляндские литературные связи. Наличие таких связей становится очевидным при рассмотрении творчества целого ряда финских писателей, этого не отрицают и финские исследователи, хотя специальных работ в данной области очень мало.

Пушкина в Финляндии начали переводить еще при его жизни, и некоторые финские литераторы довольно быстро увидели в нем величайшего национального поэта России. Например, Ф. Платен, переводчик «Кавказского пленника», назвал автора поэмы «самой яркой звездой» в русской поэзии. В связи с трагической гибелью Пушкина Ф. Платен едва ли не первый в Финляндии высказал мысль о том, что поэт пал жертвой своего времени. Об интересе к Пушкину говорит и тот факт, что Э. Ленрот в одном из своих писем просил Я. Грота шире знакомить финских читателей с творчеством поэта, а в собственных тетрадях Ленрота обнаружены пушкинские стихи, переписанные на языке оригинала.

Несмотря на скудость сведений, есть основания полагать, что еще в сороковые годы XIX века некоторые финны имели представление о творчестве Гоголя. Любопытно, например, что Ф. Сигнеус во время своего пребывания в Риме специально посетил находившегося там автора «Мертвых душ».

Уже в этот период интерес финнов к русской культуре не оставался безответным. Карельская и финская народная поэзия привлекала к себе внимание Ф. Глинки и его друзей-декабристов. Вскоре «Калевалой» и фигурой Ленрота заинтересовались самые различные представители рус-

¹ J. V. Snellman. Samlade arbeten. VIII, s. 139. Цитируется по изданию: J. V. Snellman. Samlade arbeten. Helsingfors, 1892—1898.

ской литературы. В плетневском «Современнике» появлялись переводы стихов Рунеберга, в «Финском вестнике» была напечатана повесть Снельмана. О Финляндии писали Булгарин, Дершау, Грот, Плетнев, Соллогуб. На их книги и статьи откликнулся в своих рецензиях Белинский. В защиту автономии Финляндии не раз выступал герценовский «Колокол», причем самого глубокого изучения заслуживают связи Герцена с финской эмиграцией и прежде всего с Эмилем Квантеном.

Примерно с 80-х годов, когда уже сложился финский реализм и появилась почва для широкого проникновения русской литературы в Финляндию, на творческой практике ряда финских художников стало явственно сказываться влияние русской классики, определились их симпатии к отдельным ее представителям. Талант Тургенева, например, был очень близок Ю. Ахо, А. Ярнефельт считал своим учителем Льва Толстого, с которым он виделся лично и вел оживленную переписку.

Позднее финны познакомились с творчеством Горького. Писатель был частым гостем в Финляндии, ценил ее культуру, знал ее поэтов и художников, глубоко сочувствовал освободительному движению финского народа. Под редакцией Горького в 1916 году вышла антология финской литературы, и, видимо, не без его стараний для перевода образцов финской поэзии были привлечены такие поэты, как Александр Блок и Валерий Брюсов.

Примечательно, что и для некоторых современных финских авторов русская классическая литература по-прежнему является высоким образцом писательского служения гуманистическому идеалу, важной опорой в их стремлении отмежеваться от декадентствующего модернизма. Наряду с этим наиболее прогрессивным финским писателям дорог также революционный пафос советской литературы. Общеизвестно, например, увлечение А. Эйкия поэзией Маяковского.

Подобные факты уже сами по себе представляют значительный интерес. Однако, чтобы достаточно глубоко и правильно «прочитать» их, необходимо поставить весь круг чрезвычайно сложных вопросов о литературных влияниях на прочную историческую основу, а это требует хорошего знания истории всей финской литературы. Исходить при этом следует не столько из личных симпатий того или иного финского писателя (хотя это, конечно, тоже важно), сколько из внутренних потребностей общественно-литературного развития в целом. Если ограничиваться лишь поверхностным выискиванием влияний, то очень легко оказаться в плену отвлеченного компаративизма, которому уже заплатили столь большую дань многие литературоведы Финляндии.

Применительно к тому периоду русско-финляндских литературных связей, которому посвящена данная статья, еще трудно говорить о каких-то прямых и непосредственных влияниях русской литературы на творческую практику финских писателей. Однако уже в ту пору наблюдалось известное сближение между финскими и русскими литераторами, которое стало возможным в условиях общности исторического развития обоих народов и возникновения сходных идейных течений как прогрессивного, так и консервативного характера. Еще Белинский обратил внимание на своеобразный духовный союз, складывавшийся между некоторыми финнофилами и русскими литераторами славянофильского толка. В свою очередь, борьба Белинского за передовую литературу, включая его рецензии, касающиеся Финляндии, имеет ряд общих точек соприкосновения с литературно-критической деятельностью Снельмана, хотя следует иметь в виду, что Снельман, отстаивая наиболее передовые взгляды в Финляндии 40-х годов, тем не менее оставался буржуазным либералом.

Размышляя об историческом прогрессе и судьбах Финляндии, Снельман также уделял внимание вопросу о развитии славянских народов. Он сочувствовал их национально-освободительному движению и особенно обращал внимание на их усилия в создании своей национальной культуры. В 40-е годы он не раз отмечал успехи чешской, сербской, хорватской литературы и в этой связи выражал свою «безусловную уверенность в том, что славянская культура, особенно в области литературы, однажды встанет рядом с германской и романской культурой, а возможно, и превзойдет ее».¹

Считая плодотворным и необходимым использование культурных достижений других народов, Снельман в то же время утверждал, что каждый народ сам создает свои духовные ценности. «Богемия, этот рассадник музыки в Европе,— писал Снельман,— является славянской страной, и кто знает о любви и наклонностях простого русского народа к музыке, тот, вероятно, не поставит музыкальность чехов в заслугу немецкой культуре».² В этих словах, по-видимому, заключена скрытая полемика Снельмана с теми, кто относил славян к числу «неполноценных» народов по сравнению с германцами.

В 1840 году в Хельсинки было торжественно отмечено двухсотлетие финляндского университета. Это событие ознаменовалось встречей русских и финских литераторов, однако, едва ли не более примечательно оно тем, что на него откликнулись два отсутствовавших на юбилее критика: Снельман в своем письме³ Ф. Сигнеусу и Белинский в своих рецензиях на материалы юбилейного альманаха, изданного в 1842 году на русском и шведском языках.

Снельман в это время жил в Швеции, куда он был вынужден уехать после того, как его лишили возможности преподавать в университете. Его письмо было написано в 1840 году, еще до выхода юбилейного альманаха. Однако те консервативные идеи финнофилов, против которых ополчился вскоре Белинский, были хорошо известны Снельману и без юбилейных статей. И нетрудно заметить, что Снельман и Белинский, независимо друг от друга, во многом одинаково отнеслись к самозабвенным восторгам по поводу успехов «истинной образованности» в отсталой, патриархальной Финляндии.

Хотя письмо Снельмана смогло появиться в печати лишь через несколько десятилетий, оно уже в 40-е годы ходило по рукам, вызывая оживленные споры.

«Оглянись кругом,— писал Снельман,— и найди, кого из правящих лиц трогает материальная нищета деревни или кто из университетских мужей ломает голову над тем, чтобы просветить финское крестьянство. Я уже не говорю о легионе тех, у кого не оказывается совести, когда приходится выбирать между интересами родины и жалованием, орденами и т. д.». Шведская дворянская верхушка, по мнению Снельмана, была неспособна защитить национальные интересы финнов от притеснений царизма, ибо «из нее образовалась чиновничья аристократия, которая пресмыкается и угнетает народ». Истинные патриоты, утверждал Снельман, должны выйти из народа. Но «продолжительное угнетение народной массы привело к тому, что она замкнулась в себе: решаются критиковать разве только исправника да священника, а губернатор — это уже маленький бог, сенатор — *pop plus ultra*. Мысль о возможности лучшего едва ли когда проникала в народ».

¹ Там же, т. IV, стр. 232.

² Там же, т. II, стр. 212.

³ J. V. Snellmanin kootut teokset, XII, ss. 133—135.

«Что ты думаешь,— спрашивал Снельман Сигнеуса,— как финский крестьянин воспринял ваш юбилей? Что он знает об университете? Да только то, что все, кто там был, люди другого рода, чем он сам, и потому вправе поступать с ним как угодно. Быть может, он получает оттуда судей с законами и справедливостью? Спроси его, что он думает об этой справедливости? Лишь то, что господин всегда прав, а он всегда неправ».

Снельман выдвигает тезис о необходимости просвещения народа и пробуждения его дремлющего критического рассудка как единственного пути к национальному и социальному возрождению родины. Это означало необходимость пропаганды оппозиционных идей, и Снельман полагал, что он «уже выполнил бы свою задачу, если бы сумел раструбить по миру всё то, что прошептал здесь», в частном письме. Отсюда следует, продолжал он, «что я готов идти на риск — с исстрадавшимся сердцем вернуться домой, на родину страданий». Возвратившись в Финляндию, Снельман в 1844 году стал издавать «Сайму» с целью внушить широкой общественности мысль о необходимости буржуазных реформ. В 1846 году его газета была запрещена, однако ее влияние на развитие финской журналистики и литературы отнюдь не определяется только этими тремя годами.

В упомянутом юбилейном альманахе от русских литераторов участвовали: Грот («Воспоминания Александровского университета»), Плетнев («Финляндия в русской поэзии»), Соллогуб («О литературной совестливости»), Одоевский («Необойденный дом»); от Финляндии — Ленрот («Нынешние крестьяне-поэты в Финляндии»), Кастрен («Несколько дней в Лапландии»), Рунеберг («Макбет христианская ли трагедия?»), Эман («О национальном характере финнов») и приехавший из шведской эмиграции Францен («Путешествие на юбилей 1840 года»).

Программный характер в альманахе носили статьи Эмана, Рунеберга и Соллогуба. Касаясь финского национального характера, И. Э. Эман, редактор газеты в Борго, заявлял, что в наиболее чистом виде этот характер сохранился в патриархальной крестьянской среде. Финны, по словам автора, не имели никакого понятия о политических стремлениях, им были чужды широкие национальные интересы, они по самой природе своей оставались равнодушными к «мирской суете». «Тогда как финикийцы, греки и римляне, англичане, французы и русские только в целой вселенной находят для своих мирных и воинских подвигов достойное поприще, финну для удовлетворения его честолюбия достаточно тесного мира, в собственной груди его сокрытого. Если б можно было одним словом выразить это различие в воззрениях на жизнь, мы бы сказали, что у господствующих европейских народов характер рассудочный (*spekulativ*), а у финнов, напротив, созерцательный (*contemplativ*)».¹ Указывая на свойственный крестьянскому мышлению «консерватизм», Эман тем не менее усматривал в нем идеал истинной народности, а все явления в жизни народа, которые не совпадали с этим идеалом, объявлял результатом «порчи» нравов, предосудительной аберрацией от «нормы». Пассивная созерцательность как основа национального характера финнов отразилась, по мнению Эмана, и в их народной поэзии, в «Калевале», которую многие в Финляндии считали патриархальной идиллией. «Примечательно,— продолжал в своей статье Эман,— что и все видные финляндские поэты, которые писали по-шведски и подчас были мало знакомы с финскими народными песнями, отличаются в выс-

¹ Calender till minne af Kejslerliga Alexanders universitetets andra secularfest. Helsingfors, 1842, s. 273.

шей степени отсутствием всякой суетности, естественною простотою, задушевностью и каким-то идиллическим направлением».¹

К числу «видных поэтов» этого идиллического направления Эман относил прежде всего Рунеберга, выступившего в альманахе со статьей о шекспировском «Макбете», в которой автор излагал также свои взгляды на античность и «романтическое» искусство эпохи христианства. Считая целью искусства изображение «всеобщего, которое господствует над частностями», Рунеберг утверждал, что такой принцип приемлем как для древних, так и для современных художников. Однако, если древние видели это «всеобщее» в чувственном мире и даже своих богов наделяли земными радостями и печалью, то в христианскую эпоху искусство, по мнению Рунеберга, стало отрицать все земное во имя «высшей действительности», так как «люди убедились, что под этим солнцем обитают одни тени, что страна истинной жизни озаряется светом божим». И, «заметив свой плен на земле, человек вместе с тем заметил, что он сам виновник своего плена, и дух его восстал против земной силы, в которой он нашел свои оковы, против наслаждений и мук сердечных, против обманчивых расчетов ума и ложной мудрости».² Торжество религиозного духа над языческим жизнелюбием было воспето, согласно Рунебергу, не только в христианских легендах, но и в шекспировской драматургии. В судьбе Макбета автор статьи видит выражение мысли о том, насколько бессилен человеческий разум и насколько тщетны все земные надежды, ибо они — «те же ведьмы, которые обещают тебе радости, но в действительности приносят лишь страдания».³

Статья Рунеберга пронизана острой неприязнью к стихийному материализму античности и к просветительской философии, причем эту неприязнь он постарался приписать и Шекспиру. «Макбет» в конечном счете оказывался вполне «христианской трагедией». Такое сближение поэзии с религией было сочувственно встречено Соллогубом. В своей статье, написанной в форме дружеского послания Рунебергу, который, кстати сказать, был удостоен степени доктора теологии, Соллогуб не случайно заявлял: «Многие из ваших поэтов принадлежат к духовному званию. Одно это свидетельствует, что поэзия у вас чистое, безмятежное отдохновение, святыня, которая свыше нисходит к вам после благочестивых трудов ваших и озаряет путь вашей жизни не земным светильником, а божественным лучом».⁴

Рагуя за «литературную совестливость» и «священное чувство народности», Соллогуб находил эти качества именно в той патриархально-идиллической поэзии, основным представителем которой в Финляндии был Рунеберг, возмущавшийся французскими «литературными республиканцами» не в меньшей степени, чем Соллогуб «письменной испорченностью» тех же французов. Творчество Ленрота, как и Рунеберга, Соллогуб противопоставлял литературам европейских стран с их «бессовестными журналистами», причем для этого имелись некоторые основания, ибо Ленрот, пропагандируя народную поэзию, не удержался от выпадов против «европейской образованности». Он явно идеализировал патриархальный уклад жизни, когда с тоской говорил о том, что «былая простота нравов и быта разрушается год от года, уступая место внешней мишуре», и что старомодные, но «добротные суконные кафтаны» все

¹ Там же, стр. 274.

² Там же, стр. 279.

³ Там же, стр. 285.

⁴ Альманах в память двухсотлетнего юбилея импер. Александровского университета. Гельсингфорс, 1842, стр. 265.

чаще сменялись «дрянными сюртуками». Но вместе с тем Ленрот — и это коренным образом отличает его от безоговорочных приверженцев патриархальности — отдавал себе отчет в том, что сопротивление историческому развитию бессмысленно. Он не хотел оказаться в числе тех, «кто, не постигнув своей эпохи, косо поглядывает на всё, что не напоминает ему о былых временах». У каждой эпохи, писал Ленрот, «есть свой характер, своя жизнь, своя сущность, и былое нельзя вернуть назад, на какой бы веревке его ни тянули. Мы говорим это не для того, чтобы прославлять настоящее по сравнению с прошлым, а лишь в назидание тем, кто вечно печалится, глядя, как валится наземь старая ель, и не понимая того, что из молодого побега, если не затоптать его, может вырасти новое дерево».¹ Этих мыслей не учитывали ни Соллогуб, ни Грот, когда они изображали Ленрота человеком по-детски простодушным и слишком наивным не только в своих привычках и по своему крестьянскому облику, но и в своих социальных раздумьях. Между тем Ленрот в своей статье о крестьянских поэтах, помещенной в юбилейном альманахе, не скрывал того, что народная поэзия содержала в себе социальную сатиру, чего никак не хотел признать, например, Рунеберг с его проповедью религиозного отречения. Во всяком случае Белинский в своей рецензии на альманах назвал статью Ленрота «прелюбопытнейшей статей», в то время как статья Рунеберга, по словам рецензента, не обличала «в авторе особенного критического такта или современных понятий об искусстве».²

Белинский внимательно следил за всем, что печаталось в России о финнах. Ему была известна, в частности, и болгаринская «Летняя прогулка по Финляндии и Швеции в 1838 году», автор которой, говоря о популярности русской литературы среди финнов, не смутился подтвердить это ссылкой на то, что одной финляндской «барышне» были известны его, Булгарина, сочинения. Быть может, именно этот казус имел в виду Белинский, когда писал, что книга Дершау «Финляндия и финляндцы» (1842) гораздо более достойна «уважения, нежели те „прогулки“ в Финляндию или куда-нибудь, которые, при видимом расчете на карманы простодушных читателей, еще возводят небывлицы, — да еще какие! — на добрых финляндцев».³

В своих обзорах журнальной литературы Белинский касался также финляндских материалов Грота в плетневском «Современнике», причем его прежде всего интересовала их фактическая сторона, тем более, что Грот, являясь профессором Гельсингфорского университета, мог дать много ценных сведений о Финляндии и ее литературе. Следует сказать, однако, что в силу своих убеждений Грот в 40-е годы довольно односторонне информировал русского читателя об общественно-литературной жизни в Финляндии. Похвально отзываясь о Рунеберге и Ленроте за их «бескорыстное служение» литературе, Грот ничего не говорил о публицистической деятельности Снельмана, а на основании частной переписки Грота с Плетневым можно судить, что в их глазах Снельман, как и Белинский в России, был поборником «рыночной литературы», той страстной общественной полемики, в стороне от которой хотел остаться плетневский «Современник», отстаивавший «незаинтересованное» искусство. Этим расхождением во взглядах на задачи литературы объясняется, в частности, и спор Белинского с Гротом по поводу шведской романистки Фредерики Бремер.

¹ Kanteletar. Helsinki, 1942, s. XXXIII.

² В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. VI, Изд. АН СССР, М., 1955, стр. 113.

³ Там же, стр. 236.

Но особенно резкие возражения со стороны Белинского вызвала упомянутая статья Соллогуба «О литературной совестливости», причем критик высказал в этой связи ряд удивительно верных мыслей о тех явлениях в финской литературе, которые стали ему известны. Уже в рецензии на юбилейный альманах Белинский отверг попытку Соллогуба противопоставить финских литераторов как носителей «истинной» народности писателям других, более развитых стран, особенно Франции. «И как сравнить Париж с Або?» — спрашивал Белинский, имея в виду патриархальную отсталость тогдашней Финляндии, несовместимую с бурной историей французов. Образно называя Финляндию маленьким ручейком, Белинский писал, что в этом «ручейке нет подводных камней, на нем не бывает бурь и ураганов,— плыви себе, ничего не бойся, ничем не соблазняйся, созерцая бедную, но величавую природу и погружаясь во внутрь святилища души своей... Париж — море, океан; но там-то и слава смелому пловцу, презирающему и ярость волн, и губительную твердость подводных камней. А такие отважные пловцы только и бывают, что на больших морях».¹

Все это удивительно сходно с тем, что писалось в 40-е годы в Финляндии. «Мы не можем не высказать нашего мнения,— указывал в 1847 году П. Ханникайнен,— что главное препятствие, мешающее развитию отечественной повести, таится в нашей национально-общественной жизни». Конечно, продолжал Ханникайнен, «в настоящее время у нас могут быть Рунеберг и прочие поэты, поющие о восходе солнца, о весне, зиме и осени, о снегах и льдах, о любви и печали, о синеоких девах... но у нас невозможен поэт, который бы создал нечто равное „Акселю и Вальборгу“, „Марии Стюарт“, „Валленштейну“ и проч. Подобные творения могут появиться только там, где есть высшая политическая и национально-общественная жизнь, а ее-то нам и не хватает».²

Еще определеннее писал об этом Снельман, который в первом же номере «Саймы» (1844) выдвинул полемически заостренный тезис, гласивший, что в Финляндии не было еще национальной литературы,— и это заставляет нас вспомнить о подобном же тезисе отрицания в «Литературных мечтаниях» Белинского.

Сторонникам «незаинтересованной» литературы, которые любили подчеркивать распространение грамотности в Финляндии, Снельман отвечал, что умение читать еще не свидетельствует о политической просвещенности массы и о наличии развитых литературных традиций. «Грамотность,— писал он в 1847 году,— это действительно необходимое орудие просвещения, однако великая история дает все же больше, чем любая школа». Такой великой историей обладали французы. «Что читает грамотная масса французского народа? Она читает историю эпохи революции и Наполеона», «там в каждой хижине поют песни Беранже. Точно так же английский народ в период великой революционной борьбы сознательно поддерживал замыслы своих выдающихся политических деятелей, да и после того пребывал постоянно в движении, вырывая у аристократии страны одну уступку за другой. А ведь участие в таких делах обязательно просвещает человека, даже не очень грамотного».³ Хотя Снельман, оставаясь буржуазным либералом, и не был сторонником революционного переустройства общества, тем не менее в 40-е годы, в период нового революционного подъема в ряде стран, он особенно остро сознавал застойный характер жизни в Финляндии. Снельман писал: «наша отсталость обнажается только на фоне теперешних движений

¹ Там же, стр. 113.

² Suomen kansalliskirjallisuus. XII. Helsinki, 1933, s. 332.

³ J. V. Snellman. Samlade arbeten. IV, s. 412.

в остальной Европе». Сами эти «движения» Снельман не считал «добрыми плодами цивилизации», однако тут же указывал, что они в конечном итоге создавали условия для «такого прогресса, в котором мы (финны, — Э. К.) разбираемся еще хуже, чем наши отцы в результатах революционного экстаза 1791 года».¹

Снельман не раз подчеркивал в своей полемике с консервативными финнофилами, что национальные интересы нельзя сводить к воспеванию патриархальности, к собиранию фольклорных памятников и составлению грамматик. Любовь к отечеству, если она выражалась только в привязанности поэта к красотам родной природы, Снельман называл «географическим патриотизмом», подобно тому, как Белинский с презрением говорил о тех «археологах-патриотах», которые во всей национальной жизни видели и ценили лишь «отголоски старины».

Белинский еще раз вернулся к статье Соллогуба в своей рецензии на книгу М. Эмана «Главные черты из древней финской эпопеи Калевалы» в связи с тем, что из упомянутой статьи был заимствован эпиграф к книге, который гласил: «Вы едва ли поймете, как утешительно теперь, когда из литературы сделался какой-то безобразный рынок, найти в уголке Европы столь неожиданное явление». Книга была снабжена также предисловием, в котором приводились высказывания финских литераторов о «Калевале» и, в частности, слова Тенгстрема о том, что она «стеснила в себе весь национальный дух» финнов, якобы не нуждавшихся ни в каких иных идеях, более близких к современности. Пораженный такой узостью взглядов и, видимо, полемизируя также с И. Э. Эманом, который в юбилейном альманахе утверждал, что если другим народам для их деятельности нужна «целая вселенная», то финну «достаточно тесного мира, в собственной груди его сокрытого», Белинский с сарказмом писал: «Иной национальный дух так мал, что уложится в ореховой скорлупе, а иной так глубок и широк, что ему мало всей земли. Таков был национальный дух древних греков. Гомер далеко не исчерпал его весь в своих двух поэмах. И кто хочет ознакомиться и освоиться с национальным духом древней Эллады, тому мало одного Гомера, но будут для этого необходимы и Гезиод, и трагики, и Пиндар, и комик Аристофан, и философы, и историки, и ученые, а там еще остается архитектура и скульптура и наконец изучение всей внутренней домашней и политической жизни».²

Высмейвая тех, кто приходил в экстаз от всякой вновь найденной поговорки и в то же время оставался по-старчески глух к передовым веяниям времени, Белинский писал: «Как во всех иллюзиях старости, тут всё дышит преувеличением и фанатизмом. Но если таким археологам-патриотам часто случается встречать холодность и равнодушие, а иногда и насмешку со стороны людей, которым чужды их оболъщения, зато иногда они встречают не только сочувствие, но и готовность на те же преувеличения, там, где бы, кажется, всего менее могли они ожидать найти их. Это самое нашла финская литература в известном русском литераторе, графе Соллогубе».³ В словах Белинского звучало предостережение финнам, чтобы они были более разборчивы в поисках идейных союзников и не походили на того старца, который «весь в прошедшем, весь в своих воспоминаниях, он молодеет, говоря о них, делается счастлив и горд, хваля доброе старое время. Это жизнь в воспоминании, жизнь задним числом!»⁴

¹ J. V. Snelmanin kootut teokset. XII, s. 144.

² В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. X, 1956, стр. 274.

³ Там же, стр. 277.

⁴ Там же.

Познакомившись с «Калевалой» только в сокращенном и очень плохом прозаическом пересказе, Белинский не смог понять ее огромного значения в истории финской культуры. Однако в его критике консервативных любителей старины нельзя усматривать какого-то нигилизма по отношению к народной поэзии. «Мы первые готовы отдать справедливость прекрасному и благородному подвигу г. Ленрота,— писал Белинский,— но не считаем нужным впадать для этого в преувеличение. Как! все литературы Европы, кроме финской, превратились в какой-то безобразный рынок?.. Как! бескорыстное служение науке или литературе существует теперь только в Финляндии?.. Помилуйте, господа энтузиасты! прочтите жизнь таких людей, как Гумбольдт и Араго, и посмотрите, такие ли еще жертвы принесли они науке!.. Корысть, расчет и торговля действительно проникли теперь во все литературы; но вы близоруки, если за ними не рассмотрели тех благородных и прекрасных явлений, которые хотя и в меньшинстве, но есть и всегда будут везде, к чести человеческой природы».¹

Белинский хорошо понимал, что обвинения в «корыстолюбии», в конечном счете, обращались против демократических сил, одержимых якобы политическим стремлением нарушить общественный покой и помешать процветанию «незаинтересованной» литературы. Консервативность подобных взглядов была очевидна и Снельману, издателю оппозиционной «Саймы». Вопреки бесконечным разговорам об инстинктивной неприязни финнов ко всякой полемике в силу каких-то особенностей их национального характера Снельман настойчиво утверждал, что «так называемые незаинтересованные» журналы всегда оказываются «никуда не годными» и что «критический и полемический метод в журналистике лучше всего может привлечь внимание читателя и поддержать у него интерес». Тем финским литераторам, которые в своем страхе перед обострявшимися общественными противоречиями сетовали на «безрадостное время», именуя его «расколовшимся веком», Снельман отвечал, что стремление «народов установить более совершенный государственный строй, свободу совести, равенство в гражданских правах, словом, стремление добиться такого положения, которое обеспечило бы свободное развитие всех духовных сил человека»,— все это являлось убедительным свидетельством «радостных дерзаний и живых интересов нашего времени». А если в Финляндии было «мало радости», то это означало лишь то, что «у нас дух времени еще не смог воодушевить людей на радостную деятельность... И менее всего следует хулить наш век за то, что некоторые его сыны не усвоили его духа, ибо это дано не тем, кто спит, а тем, кто бодрствует и занят делом».²

Снельман отказывал в чувстве исторического оптимизма «высшим классам общества». И если наиболее консервативные финские литераторы пытались выдать свое собственное уныние за основную черту национального характера, то Снельман, напротив, утверждал, что именно в народе таятся силы, способные обновить общество. Болезненные раздумья о смерти, размышления о бренности бытия и наряду с этим стремление любой ценой продлить свое существование — все это, указывал Снельман, «является характерной особенностью уже одряхлевших каст, а не широких слоев народа; в этих слоях следует прежде всего искать людей, которые с радостью жертвуют собой во имя убеждений и долга».³

¹ Там же, стр. 277—278.

² J. V. Snellman. Samlade arbeten, IV, ss. 200—201.

³ Там же, т. VIII, стр. 163.

Снельман в какой-то мере владел русским языком, но пока что не представляется возможным судить о степени его осведомленности в вопросах общественно-литературной борьбы в России. В 1845 году в «Финском вестнике», основанном Ф. Дершау, была опубликована повесть Снельмана «Любовь и любовь», и, казалось бы, у автора была причина заинтересоваться, по крайней мере, этим русским журналом, которым, как известно, пытались воспользоваться представители передовых сил России. Читая свою повесть по-русски, Снельман мог бы обнаружить пропуски в переводе, которые, судя по всему, объяснялись цензурными соображениями, в частности, были опущены рассуждения автора об Июльской революции 1830 года во Франции.

Говоря об отношении финнов к России, нельзя не упомянуть об одной дневниковой записи З. Топелиуса, которая относится к 1837 году. Как редактор «Гельсингфорс тиднинггар» Топелиус вскоре стал идейным противником Снельмана, и последний справедливо называл его газету консервативной. Однако в условиях свирепой реакции и Топелиуса иногда охватывала искренняя тревога за будущее Финляндии, и, видимо, в одну из таких минут он записал следующую мысль: «У нас все же есть еще союзник в этой великой борьбе за духовную жизнь или смерть. Это — нарастающая сила юного времени. По своей природе она духовна, это вечный дух, который объемлет народы и толкает их вперед по пути просвещения. Со временем эта сила проникнет и в Россию, чтобы оружием, более мощным, чем у нас (финнов, — Э. К.), бороться за торжество правды над окутавшим мир туманом. И если мы сумеем выстоять до той поры, значит мы спасены, и тогда Финляндия одержит самую прекрасную победу из всех когда-либо одержанных ею побед».¹

В этих словах выражена надежда на какие-то изменения в России, на какое-то пробуждение ее внутренних сил, способных облегчить и судьбу финского народа. Однако это были слишком туманные упования, сама идея прогресса воспринималась Топелиусом только в абстрактно-символической форме, как победа света над тьмой, не связанная с жесткой борьбой реальных общественных сил. И когда Топелиус впоследствии узнал о действиях революционных народников, он отнесся к ним враждебно, восхваляя Александра «освободителя». К тому времени и Снельман уже не примыкал к антиправительственной оппозиции. Еще в начале 60-х годов он в одной из своих статей отрицательно отзывался об эмигрантской русской прессе, явно имея в виду «Колокол». У Снельмана могли быть и личные обиды, ибо в «Колоколе» от 10 июня 1863 года со ссылкой на лондонскую «Таймс» сообщалось, что Снельман (в «Колоколе» он ошибочно назван «Шелманом») был в числе тех, кто поддержал верноподданнический адрес, потребованный царизмом от финнов в связи с восстанием в Польше. Снельман — и это было ясно издателем «Колокола» — уже не являлся представителем передовых общественных сил Финляндии. Поддержав адрес и заняв соглашательскую позицию в период так называемого «конституционного кризиса» в Финляндии, Снельман навлек на себя негодование многих своих соотечественников, особенно молодежи.

В «Колоколе» от 15 ноября 1863 года (в статье «Голос из Финляндии», подписанной «Финляндец») указывалось, что за вырванные у царизма уступки финны были обязаны не верноподданническим адресам, а общему подъему освободительного движения во всей Российской империи: восстанию поляков, волнениям «будто бы освобожденных» русских

¹ V. Vasenius. Z. Topelius ihmisenä ja runoilijana. III Helsinki, 1919, ss. 137—138.

крестьян, «тайному брожению общества „Земля и Воля“, да сверх того независимости нашего собственного поведения», то есть недовольству самих финнов. К этому протесту присоединились и передовые финляндские литераторы. В период «конституционного кризиса» Ю. Вексель, например, обратился к своим соотечественникам с «Кличем времени», а его историческая драма «Даниэль Юрт», пронизанная бунтарскими настроениями, явилась первым крупным произведением финской литературы, переведенным на русский язык.

Во второй половине XIX века русско-финляндские литературные связи стали уже более тесными и плодотворными. Как выразился литературовед К. Тиандер, «струя социального обличения в финской литературе является неперенным плодом ее сближения с русскими идейными течениями».¹



¹ К. Тиандер. Литература Финляндии. В книге: «Отечество», т. 1, Петроград, 1916, отдел II, стр. 23.